



СОДЕРЖАНИЕ

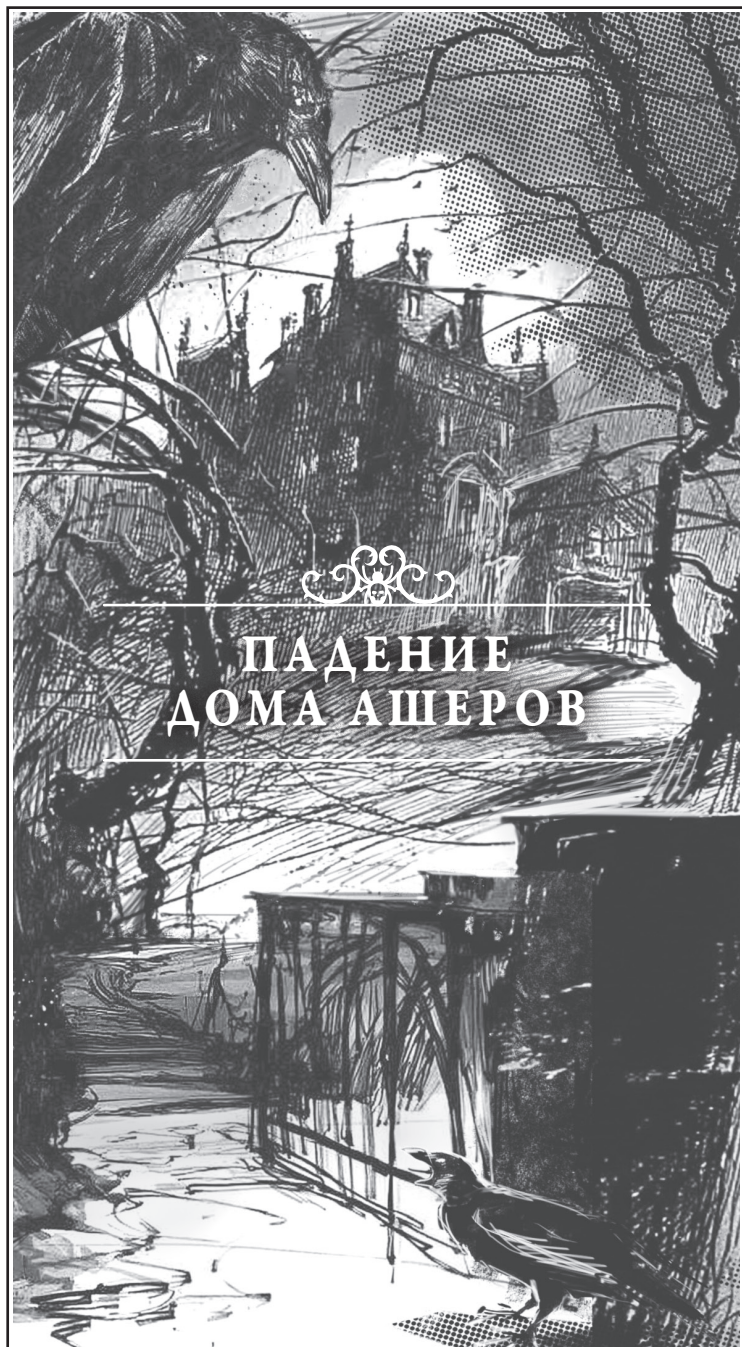
ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ (перевод В. Рогова)	3
БЕРЕНИКА (перевод И. Гуровой).....	29
МОРЕЛЛА (перевод И. Гуровой).....	43
ЛИГЕЙЯ (перевод И. Гуровой)	51
МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ (перевод В. Рогова) ..	73
ТЕНЬ (перевод М. А. Энгельгарта)	83
ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (перевод В. Рогова)	87
СВИДАНИЕ (перевод М. А. Энгельгарта)	93
ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК (перевод М. А. Энгельгарта)	109
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ (перевод М. А. Энгельгарта)	123
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ (перевод Р. Гальпериной)	141
ТАЙНА МАРИ РОЖЕ (перевод И. Гуровой).....	185
ПОХИЩЕННОЕ ПИСЬМО (перевод Н. Демуровой)	255
ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН (перевод М. А. Энгельгарта) ..	281
ЧЕРТ НА КОЛОКОЛЬНЕ (перевод В. Рогова)	305
КОРОЛЬ ЧУМА (перевод В. Рогова)	317

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГОСПОДИНОМ ВАЛЬДЕМАРОМ? (перевод М. А. Энгельгарта) ..	333
БЕС ПРЕВРАТНОСТИ (перевод М. А. Энгельгарта)	345
ЧЕРНАЯ КОШКА (перевод М. А. Энгельгарта)	355
КОЛОДЕЗЬ И МАЯТНИК (перевод М. А. Энгельгарта)	367
СЕРДЦЕ-ОБЛИЧИТЕЛЬ (перевод М. А. Энгельгарта)	387
БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО (перевод М. А. Энгельгарта)	395
ЛЯГУШОНОК (перевод М. А. Энгельгарта)	405

СТИХОТВОРЕНИЯ

Сон во сне (перевод В. Брюсова)	420
Ворон (перевод М. Зенкевича)	421
Спящая (перевод В. Брюсова)	428
Свадебная баллада (перевод В. Брюсова)	431
Червь-победитель (перевод В. Рогова)	433
Колокольчики и колокола (перевод К. Бальмонта)	435
Анни (перевод А. Сергеева)	440





ПАДЕНИЕ
ДОМА АШЕРОВ

Перевод В. Рогова

Son coeur est un luth suspendu;
Sitot qu'on le touche il resonance.¹

Беранже



В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеров. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю «невыносимую», ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид — на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья — на хмурые стены — на пустые окна, похожие на глаза, — на редкую, высохшую осоку — и на редкие белые стволы гнилых деревьев — и испытал совершенный упадок духа, который могу из всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума, — горький возврат к действительности — ужасное падение покрывала. Сердце леденело, замирало, ныло — ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное.

¹ Его сердце — висящая лютя;
Коснешься — и она зазвучит (*фр.*).

Что же — подумал я — что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимой; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что, хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление, им производимое; и, последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего черного озера, невозмутимо мерцавшего рядом с домом, и посмотрел вниз — но с еще большим содроганием — на отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы, окна.

И все же я предполагал провести несколько недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества; но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо — письмо от него, — на которое, ввиду его отчаянной настоятельности, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге — об изнуряющем его душевном расстройстве — и о сжигающем желании видеть меня, его лучшего, да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большее — очевидная



пылкость его мольбы — не оставили мне места для колебаний; и я незамедлительно откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным.

Хотя в отрочестве мы были очень близки, я настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времен отличался необычною душевною чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведений искусства, а с недавних пор — в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже не к привычным и легко узнаваемым красотам музыки, но к ее изыскам. Узнал я и весьма замечательный факт: что родословное древо Ашеро́в никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей; иными словами, что весь род продолжался по прямой линии и что так было всегда, лишь с весьма незначительными и скоропреходящими исключениями. Быть может, раздумывая я, мысленно дивясь, сколь полно облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев, и гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй — быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну в конце концов так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чудное и двузначное наименование «Дом Ашеро́в» — наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок.

Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт — взгляд на отражения в воде — лишь углубил необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной — почему бы не назвать ее так? — моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, зиждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странною фантазией — фантазией, воистину столь нелепою, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так взвинтил воображение, что вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им да ближайшим окрестностям, — атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но подымавшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера — нездоровая и загадочная, отупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка.

Отогнав от души то, что не могло не быть грезой, я с большею пристальностью осмотрел истинное обличье здания. Казалось, главною его чертою была крайняя ветхость. Века сильно переменили его цвет. Все здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкою, спутанною сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте; и глазам представало вопиющее несоответствие между все еще безупречною соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многое напоминало мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожимом

ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спускалась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера.

Заметив все это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий лакей повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многое по дороге туда, не знаю уж каким образом, усиливало неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг — резьба потолков, мрачные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантасмагорические латы, гроыхавшие от моих шагов, — было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное — и я не мог этого не признать — я все же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину.

Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, остроконечные окна находились так высоко от черного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны; однако глаз тщетно

пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбой потолке. На стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферой скорби. Все пронизывала суровая, глубокая и безысходная мрачность.

Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели; и несколько мгновений, пока он молчал, я взирав на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица; большие влажные глаза, полные несравненного блеска; губы, довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку; тонкий нос еврейского типа, но с необычно широкими для подобной формы ноздрями; изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперед, что говорило о душевной слабости; волосы мягче и тоньше паутины — эти черты, в сочетании с непропорционально высоким лбом, составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих

черт и их выражения так их меняла, что я усумнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном.

В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность — некий алогизм; и я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь — крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен и его письмом, и некоторыми особенностями его отроческих лет, и выводами, сделанными из наблюдений над свойствами его необычного организма и темперамента. Он был то оживлен, то подавлен. Голос его резко переходил от неуверенной дрожи (когда бодрость совершенно угасала) к того рода энергической сжатости — тому крутому, неторопливому и гулкому произношению — тем тяжеловесным, уравновешенным, безукоризненно модулированным гортанным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности.

Таким-то образом говорил он о цели моего посещения, о горячем желании повидать меня и об облегчении, им от меня ожидаемом. Он довольно странно объяснил мне то, что считал природою своей болезни. То был, по его словам, врожденный и наследственный недуг, лекарство от которого он отчаялся найти — просто-напросто нервное расстройство, тут

же прибавил он, которое, несомненно, скоро пройдет. Выражалось оно в обилии противоестественных ощущений. Иные из них меня заинтересовали и повергли в растерянность; хотя, быть может, повлияли отдельные его слова и общая манера повествования. Он очень страдал от болезненной обостренности чувств; он мог есть лишь самую пресную пищу; он мог носить одежду только из определенной материи; всякий запах цветов угнетал его; свет, даже тусклый, терзал ему глаза; и лишь особые звуки струнных инструментов не вселяли в него ужас.

Я понял, что он во власти ненормальной разновидности страха. «Я погибну, — сказал он, — я должен погибнуть от этого прискорбного помешательства. Так, так, а не иначе, настигнет меня конец. Я боюсь грядущих событий, не их самих, а того, что они повлекут за собою. Дрожь пронизывает меня при мысли о любом, пусть самом ничтожном случае, способном воздействовать на мою непереносимую душевную чувствительность. Нет, меня отвращает не опасность, а ее абсолютное выражение — ужас. При моих плачевно расшатанных нервах я чувствую, что рано или поздно придет время, когда я вынужден буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком, во время какой-нибудь схватки с угрюмым призраком — страхом».

Постепенно я узнал из несвязных и малопонятных намеков еще об одной необычной черте его душевного состояния. Он был окован некоторыми суеверными представлениями относительно своего жилища, откуда он в течение многих лет ни разу не выезжал, — относительно влияния, о предполагаемой силе которого он поведал в выражениях, чрезмерно туманных, дабы



их здесь пересказывать, — влияния, какое известные особенности зодчества и материала его фамильного замка ввиду многолетней привычки обрели над его душою, — таков был эффект, произведенный обликом серых башен и стен и тусклого озера, куда они все смотрели, на духовное начало его существования.

Однако он признался, хотя и не сразу, что столь обуявшая его необычная унылость во многом зависела от более естественной и более веской причины: от беспощадной и длительной болезни — говоря по правде, от несомненно приближающегося угасания — нежно любимой сестры, его единственного друга на протяжении долгих лет, последней из его родни на свете. Ее кончина, сказал он с незабываемой горечью, ее кончина оставит его (его, безнадёжного, хрупкого) последним в древнем роде Ашеров. Пока он говорил это, леди Маделина (так ее звали) прошла по отдаленной части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на нее с полным изумлением и не без испуга; и все же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотри на нее, я цепенел. Когда, наконец, за нею закрылась дверь, я тотчас, бессознательно и нетерпеливо, повернулся к брату; но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность еще сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились обильные, жаркие слезы.

Болезнь леди Маделины долго ставила в тупик ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь; но в сумерки того дня, когда

я приехал (как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат), она сдалась обессилившему могуществу разрушительницы; и я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним и что я более не увижу ее — по крайней мере живую.

Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени; и это время я был поглощен настойчивыми попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, все глубже допуская меня к тайникам его души, тем с большею горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и непременная особенность, изливался на все духовное и материальное единым и непрерывным излучением тоски.

Вовеки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом наедине с властелином Дома Ашеров. И все же мне бы не удалась никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фон Вебера. Из картин, которые разрабатывала его изощренная фантазия и которые, мазок за мазком, наделялись зыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную,



что необъяснимую — из его картин (как живо ни стоят сейчас предо мною их образы) я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю, поддающуюся словесному выражению. Полною простотою, нагою четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, кои моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез Фюзели.

Одно из фантазмагорических творений моего друга, не столь беспощадно отвлеченное, хотя и в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неимоверно длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землею. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света; и все-таки по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием.

Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшим для страдальца невыносимою всякую музыку, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которою он был ограничен, — гитара — в значительной мере обусловила фантастичность его игры.

Но пылкая легкость его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий (ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами) итогом той напряженной умственной собранности и сосредоточенности, о коей я упоминал ранее как о наблюдаемой лишь в мгновения особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого раума пошатнулся.

Стихи, озаглавленные «Заколдованный чертог», звучали приблизительно, а быть может, и в точности, так:

I
Добрых ангелов обитель,
Расцветал зеленый лог;
Там, равнины повелитель,
Воздымал главу чертог.
Где владенья Мысли были,
Он стоял!
Ввек над лучшим краем крылий
Серафим не простирал.

II
Золотистые знамена
Осеняли светлый кров
(Было так во время оно,
В бездне веков);

